

НА ВТОРОЙ

Родился в Череповце. Учился в Свердловске. Окончил Уральский университет факультет журналистики. Бывал во многих городах. Жил в Ленинграде. Живет в памяти и сердцах людей, которые его слышали, и в песнях, которые он оставил.

«На Второй мировой поэзии призван годным и рядовым» — из его автобиографии. Вторая мировая поэзия присвоила ему более высокое звание еще при жизни. Первая, возможно, тоже удостоит. По-смертно.



...ПРИЗНАН ГОДНЫМ И РЯДОВЫМ

Мы познакомились зимой, в январе 1987 года. Я открыла дверь — пришел гость, единственный в семье.

Он пришел без пилары (тогда не пел, не хотел, не собирался), в телогрейке и больших вадекаках — было морозно — свежий, разгоряченный, допотопный пашком, но казалось, что только что играл в снежки с мальчишками — такие сияющие, радостные и потрескавшиеся глаза, словно игру прервали... А что же дальше?

Голос был знаком... Голос, который был необходим — для жизни, голос, в котором была растворена улыбка.

... Длинный свободный коринневый свитер, длинные светлые пряди волос, стаянные, мягкие черты... Внимательные брови, зоркие глаза.

— Что, не таким представляла?

— Да нет, мне рассказывали.

Но — что можно рассказать? Разве можно что-то рассказать... Разве можно увидеть чужими глазами это вот, например, человеческое чудо?

Младенец — орок — безприорник — калика пережидки — скоморок-подросток из рок-тусовки... И много больше, много больше.

Почем я не раз видела его — среди людей. Видела его в толпе, в предконцертной «тусовке», не один, — но — в одиночестве. В нем была определенность. Предрешенность, решенность. Она же — определенность, предрешенность, обреченность. Изначенность.

Он понял бы этот ряд мгновенно, как и понимал всегда. Он понял бы меня сразу. Он слышал корни и мыслил корнями и очень радовался, когда другие это понимали и слышали. Чувство языка у него было абсолютное.

Тогда теклась от метро «Баграионовская» и окружала ДК им. Горького московская рок-лаборатория чествовала лурдегов омертвевшего фестивали. Я увидела Сашку еще по дороге от метро и... не решилась окликнуть его, пораженная этим иным лицом, иным его состоянием, иной степенью боли. Это была наша вторая встреча. Я окликавала момент разговора, зная, что на концерте, раньше или позже — все равно увижу его.

Так и случилось. У дверей ДК они с Артемом Проником вышли мне навстречу, бошкой — Артем и маленький — Сашка... Их связывала особая дружба, которая во многом определялась нежной заботой Артема, настоящим лубским участием. И в этой скрытой нежности тоже была тревога, особенно зная, что она была.

Именно тогда, в тот час, после приветствий и завываний, это страшное, выходящее и произрастающее, но еще с надеждой на ответ: «Зачем!» В глазах было страшное напряжение. Он ждал ответа. Я ответила не зная.

...Когда он был в центре внимания — во время домашних концертов и перекрестов — это напряжение вырвалось восторженно и лубковством. Он забывал и забывался мелочами, дулет в тапирскую, пел по-английски с чудовищным произношением, шутил, смеялся.

Но когда звучали первые аккорды, его аккорды, и все усаживались и затаились, он — медленно обводя глазами всех присутствующих, вляя в глаза — каждому, бросая аккорд — каждому, сырая — вех...

Звучал ритм, звенели колокольники — а он звал, звал — безмолвно, пока — безмолвно — звал — услышав — соединял физически — вех с собой — пока не наступал момент, когда уже нельзя было быть и жить — отдельно, когда нельзя было овести

глаз и пошевелиться.

Ведь самым главным для него было — чтоб услышали. Самым страшным было — что не слышат. Слушают — и не слышат. Самым страшным, самым большим, самым тяжелым было это. Вель слова его, его каждое слово — было плодом жизни и зерном жизни, и он бросал их — не на ветер, а если и на ветер, то лишь на «мельной ветер верной любви... Тут дело не ново — словить это слово. Ты снова, и снова, и снова — лови...»

Он очень хотел, чтоб его понимали.

Кем он считал себя? Это очень сложный вопрос. Он был блистательно умен, густо образован. Образование высшее факультет журналистики. Прекрасно зная и чувствуя русский язык, проникая в его прозаические глубины, извлекая и приближая к нам богатства фольклора, — он приближал говорить на сленге. И жить — нигде. Прого — в России.

«Я с детских лет не умею стоять в строю», — говорил он, «Доминский зловон, Овечь и пиль и есть Спасибо, Баштчев Палата №6». Эта автохарактеристика и автобиография настолько же точна и хороша, как шулка, насколько и серьезна. Традиция, как-никак. А вот весело о вэном — это его, сашка-вэном. Весело... насколько возможно.

Но среди его немногочисленных лирических самоопределений есть формулировка, достойная отдельного большого разговора.

На Второй мировой поэзии

Призван годным и рядовым

Вторая мировая поэзия, которая, рядом с официальной, с завалами никому не нужной печатной дурью, Вторая мировая — снова и снова поднимающаяся, идущая к людям, сжимающая в руках плечу, рвущая сердце и гитарные струны. Вторая мировая поэзия — неизменная, неизменная, неземная мушкетер, а для многих единственная.

Ее призыв — добровольный штрафбат. Люди, принимающие на себя вину — за все. Им дана высшая мера любви. Их имена известны... становятся потом. Это люди, носящие в себе неземное. А долго ли можно носить неземное?..

17 февраля 1988 года не стало Саши Баштчева. Ему было 27, и он ушел сам. Для многих, знавших его, это было страшнейшей неожиданностью и загадкой. Знаем? Сколько измененных вопросов сквозь слезы...

Странно было это слышать. Странно слышать от людей, которые «знали», видели его, разговаривали с ним — и, самое главное, слушали его, слушали его песни. Что же они слышали?..

Его знали всецелым, озорным, забавным, беспечным и бездонным. Иногда он выглядел совсем ребенком. Любил развлечения, игры, на все неожиданное, неизнессное смотрел восхищенными глазами, все время ожидал чего-то. «Здоровский!» — говорил он.

Но те, кто знал его ближе, — те не раз видели в тех же лучистых глазах страшное, неземное напряжение.

Он не вписывался ни в какое общество, хотя многие «держали его за своего», и знакомых, друзей-приятелей было у него очень много. Многих вводили в заблуждение лукавая улыбка, сияющие глаза и детские вопросы. Его дика и лирична — на выбор — чаще оказывались ближе и понятнее окружающим, чем то, что так очевидно и страшно открывалось, так рвалось наружу в его песнях... «Да наши песни — нам ли выбирать? Сбылось насквозь».

«Я — ВОЛЬ ЯБЛОКА»

«Пока пою, пока дышу, любви меняю колыба, Я на пруди своей ношу три звонких колокольца». «Рокер» с колокольчиками... Светлый орок в кепочке. Лель — безприорник, бродяга эпохи... Какой эпохи?..

«Сколько лет лопали не кованы, ни одно колесо не мазано. Пленки нет, Сета разворованы. И давно все узлы развязаны... Вак жуем — мамоти с молп-вами. Вак живем — холь шарь нам выколи. Стим да пьем. Сутками и липрами. Не поем. Пель уже от-выкли...» Набор архаизмов врод ли тронул бы наше сознание, если бы не «жет благо», если бы не была вложена великая энергия боли, если бы не слышал — КАК он это пел.

«...Что ж теперь холм вкрут да около. На своем поле, как подпоясники! Если нам не олити колокол, значит, здесь время колокольников... Запретим, заведем, зашелем! Пробрет до костей, до кончиков. Эй, братва! Чуете печенки прозвон смех русских колокольников?..»

Какая это эпоха? А это?

«Как сидит втр в светлом тереме,

В светлом тереме с занавесками,

С яркой лосрой эгэрической

На скамеечке, крылой серебром.

Ший войлоком,

Рядом с пенькой белой, каменной

Видно жмурится,

Видно жмурится

На пени его рвань-фудзетка

Приослабилась

Вспиналилась дрян-ушаночка,

Да приспособилась вонь-поряночки

В светлом тереме

С занавесками...»

А это какая эпоха?

«Этот город скользит и меняет названья.

Этот адрес данно кто то тщательно стер.

Этой улицы нет, а на ней нету здания,

Где всю ночь правит бал Абсолютный Вахтер.

«Лакрированный спирт, он привелив и смазан.

И седойный бат он усиротил для вас.

Покрой падефон, подмились, приказу,

Зойрает илой носулянский вальс.

Бал на все времена. Ах, как сенсиманально.

И паук — ржавый крест спит в золоте наших звезд.

И мелодия вальса так документальна.

Как обманый арест, как бдительный донос.

Как багряные танцы на каждом допросе.

Как таарин на вышке, дранущий забор.

Абсолютный Вахтер — ни Адольф, ни И.

Доссельдорфский мясник да покойный живодер.

Дополье римы синкопы на прогулке.

Блоды извоков камер и синиги, облив.

Димй плен толстой куклы, рабойкой при обыске.

Бесконечная пауза выжженных глав...»

Эта наша эпоха. Наша. В протый рост. Со всеми своими корнями и истокими. Это зрение сегодняшнего дня, напряженное сегодняшнее зрение.

Он писал баллады и псалмы, пасты-стоны и песни-уещения. И во всем этом было удивительное чувство России. Вей сразу. Со всеми ее городами и деревнями, со всеми ее диками, чудовищными пропирочиями и неземной болью-любовью, с мучительными свидетельствами «нашей редкой силой сер-

МИРОВОЙ ПОЭЗИИ

денной да дури нашей злой, зловедной».
 От слова «Да неужели не умел мы по-доброму?»
 — до великой веры в бессмертное зерно до
 его могучую и светлую силу.

Сада производил втепление человека, которому
 самое большое знание и понимание дано изначально,
 с рождения, — и дальнейшее образование не играло
 особой роли в его жизни. То, что он умел, то, что
 он нес в себе, — образованием не дается.

«Ниль, как волос.
 Жиль, как колос.
 Размолюит колос в дух и прах
 Один цепной удар.
 Да я все знаю, дай мне глоток! —
 И я лобой удар приму, как твой великий дар.
 Тот, кто рубит сам дорогу,
 Не кузнец, не плотник ты,
 Да все одно — поэт.
 Тот, кто любит — да не к сроку.
 Тот, кто исповедует, да сам то не ведает» У

него были так называемые «мелные» песни, он сам
 их так называл. Хотя прекрасно понимал, что песни
 эти... не то, чтобы не смешные... нет, часто смешные
 всерьезились от души... Но эти песни не имеют ни-
 чего общего с обычным песенным юмором, юмором
 эстрады. Да и с юмором его друзей-рокеров, обозна-
 чаемым понятным им словом «стеб» —

Любый его песенный сюжет, любия баллада — это
 психологическая драма. Такая песенная драматур-
 гия, как его «Рисовский вальс», «Винош»,
 «Егоркина былина», «Песня о Родине» и многие дру-
 гие вообще не имеют аналогов по уровню психологиче-
 ского раскрытия, психологической глубины. Приме-
 чательно кончается «Рождественская песенка»:

«То-то будет хорошо!
 Снегу будет много.
 Спице, дети. Я пошел.
 Скаперно дорога...»
 Эти примечательные нанигаются «Покроны шу-
 ты»:

«Смордие — еловье лапы дрызут ми руки —
 Горней сморгой заликает рубку сеча.
 Стель шумного бала шуму умираю от скуки
 Под хобот приворник лакевс и влох талача».
 Он многим казался — и был — веселым, радост-
 ным. Естественным. Как яблоко. И все же:

«Без трех минут — бал восковых фигур. Без чет-
 верти — смерть. С семи драгых шкур — шерсти
 клок. Как хочется жить... Не меньше, чем стель.
 Связки мою ниль в узелок... Холодный апрель. Горя-
 чие сны. И вирус, новый ног в крови. И кажная
 цель ближайшей войны. Смеется и ждет любви.»

Можно ли очернить, обонанить в нескольких сло-
 вках поэзии, которое изваяно счигалось неопределя-
 емый... Судите сами:

«Любовь — режиссер с удивленным лицом,
 Снимающий фильм с безымянным концом,
 А нам все равно так хотелось сморпеть на экран.
 Любовь — это снег и плука стена.

«Любовь — это несколько капель вина.
 Любовь — это солнце, которое вилит закат.
 Любовь — это я, это твой Незвасный солдат...»

Хорошо зная, что песни его тревожат, будоражат,
 потрясают людей, Сада знал и понимал их цели-
 тельную силу. Все, что он делал, было проникнуто,
 великой любовью и состраданьем, и серьезной силой
 возводилось в высокую степень утешения.

«Все будет хорошо... Всем асстрам — по любви...»
 «Сестрам» тайне и величии женского сердца,
 посвящены многие его песни. Сестра для него не
 просто слово, и не просто степеня великого родства.
 Сестра — сущность, тождественная самой истине.

Доля, сестра, влоа — это судьба красота, истинны
 и добра, — их реальная жизнь, воплощение и трагедия.
 Обонанье этой трагедии и единственной судьбы,
 которая вечно происходит ей — в балладе «Вет-
 ный пост».

«Завязки мой влас песней на ветру!
 Потюки ей власно на имена!
 Я пойду сморпеть, как твою сестру
 Кругот свашь виемному, в три бревна.
 Как вьзнают в страме, приивяв планком.
 Сивяком суди да яри в ремни.
 Но сегодня вечером я такком
 Огляну ей сердце, лежащее с яблони.
 Путь возьмет на зю, да не в квас, а в кровь.
 Короти приасиди на Руси.
 Не суди ты нас! На Руси любовь
 Исток средни воюкой ереси.
 Исток фолни черной ереси...»

«Но сердце в рабе да серебро в ветре
 Я узрел, не зря, я — боть яблока
 Господи, сморди Вилше! На заре
 Доля твоя ведет к долнику быка
 Молнию замолви, благослови!
 Кто бы нас не пас Худом ли, Добром,
 Ветный пост,
 умойся в мой любви!»

«Но с обшину.
 Все небо с обшину.
 Мы празднуем первый гром!»

«По Руси, по миру — Ветный пост...» Лирика
 «Ветный пост» — а так называется весь последний
 поэтический альбом Саши Башлачева — изумительная
 по своему языку.

«...И дар русской речи сберечь» — эти горячие
 слова одной из самых горючих, мучительных и свет-
 лых его песен заключали в себе смысл его жизни.
 Невозможно сказать разном то, что он делал. Но
 если попытаться определить это одним словом, то
 — он раскопал русский фольклор. Работил его,
 как спидом красавицу. Поворнул и заставил новы-
 ми гранями сверкнуть и засиять покинувшие от
 времени и неупреждения драгоценные слова и
 смыслы. Сомкнул, связал неразрывно эти богатства
 с обществанской, христианской и мировой культу-
 рой.

«Как искали искры в сыром бору.
 Как писали вилки на Рогу.
 Пусть пребудет всякому по нупру,
 Да воздвигнется каждому по ступиду!»

Поиски — он был хранителем не буквы, а Духа
 высшего закона. Буквой он поворачивал — по праву
 поэта. Майя языка и дар слова — это единствен-
 ное, что он имел, но это бесценно.

«Вотя утолована нам кому волюпоно.
 Мне с мою милой рай на шабине.
 Обще мени асше все, что душе угодно.
 Но это только то, что молно душе»

Бвсвасный ум не может понять и вынести одного
 — несоробванности. Но душа всегда неволит вы-
 ход, «...Не верье концу, но не жлите иного раскла-
 да. А что там было в пуги? Мелрты, рубиди... Неваж-
 но, когда семь кругов беспокройного лада Позволяют
 иди, наконец, не касаясь земли...»

Семь кругов Лада... Снова бесконечное «эль» —
 Любовь — засюкает прорасть, подматывает, успе-
 вает «сидеть в облака...» И снова — звучит, звучит,
 звучит Голос:

«Ну, ну... не плачь, не жалей. Кого нам жалеть?
 Вель ты, как и я, сирота. Ну, что ты? Сметай! Нам
 нужно лететь! А ну, от вина! Все, все — от вина!
 ...»

«ПУСТЬ ВРИТ ПЕРУ ЖИЗНЬ КАК ИСТИНА В ЧЕЛОВЕКЕ»

Его было смешно нелегко. Нанигто болеть серд-
 це. «Какое ощущение, что ты стоишь на твоей элек-
 трика стел, а уходить не хочешь», — сказано
 однажды о его песнях.

«Опусти мне пречи! Я не помню мотив.
 Если хочешь, сивями пречи замолно.
 Но объясни — я люблю, опото что болит
 Или это болит, опото что люблю!»

Его нелегко было смешать. А ему невозможно сми-
 риться со страшной «Мелничке» гашей стелю судь-
 бы. С тем, что «музыкант — по-нужному слеп, а
 снайпер все также глух».

С горьким обонаньем того, что «я никогда не смогу
 найти все то, что, наверное, легко украсть».

Человичия действительность, чловичия реаль-
 ность, в которой он жил, которую он видел («Мы
 строили замок, а выстроили сортир. Ошсика в проек-
 те, но нам как всегда виднее!...»), судьба Виноши
 и душа Егорки «тоняграну вся прокопченна, на-
 расташку вся заключенна», беспощадная «Мелни-
 ца» и общия Великая пель — все это вызвало без-
 мерную боль — до крика, а порой до немолы.

«Ну —
 «Груно в пуги. То там, то тут подпель заносет.
 Мол, пель да туман... Стопной бурьян и нет кон-
 ца»

«Но все вперед. На белом свете есть такое,
 что никогда не снитос нашим подтелам.
 Что никогда не снитос нашим подтелам...»

«Есть немало такого на свете. Он увержал это
 каждому своим льдынем».

«Все ясное прослутали трагические законы бытия.
 Из их плудин выросли грандиозные тени-призраки
 Часовой всех времен и Абсолютный Вахтер.
 Не могли объяснить тайну любви и боли. Горный
 шлык, притоняющийся беки, — лишь еще одна воз-
 можность прозреть. Страшно! — Страшно. А ты вы-
 ди, сметей, вилди да веселей... Все будет хорошо...»
 «Бы меня не шари, срезь ударом конья...» «А

я долов на дубою дубю...» Это путь и выбор. «Я
 все знаю. Дай мне глоток. И я лобой удар приму
 как твой великий дар». Это цена.

И вот однажды боль перестает существовать от-
 дельно и теряет сосвнанный смысл. Все это было
 — было нужно для того, чтобы «встоплять и стоплять
 с любовью на равнь».

И дар русской речи сберечь...
 И голос, который рвался раньше в безмерном на-
 пржении, в ступидных претелов и несоробы влрм

неизнает звучать спокойно, так спокойно...
 Я знаю, знем иду по земле.

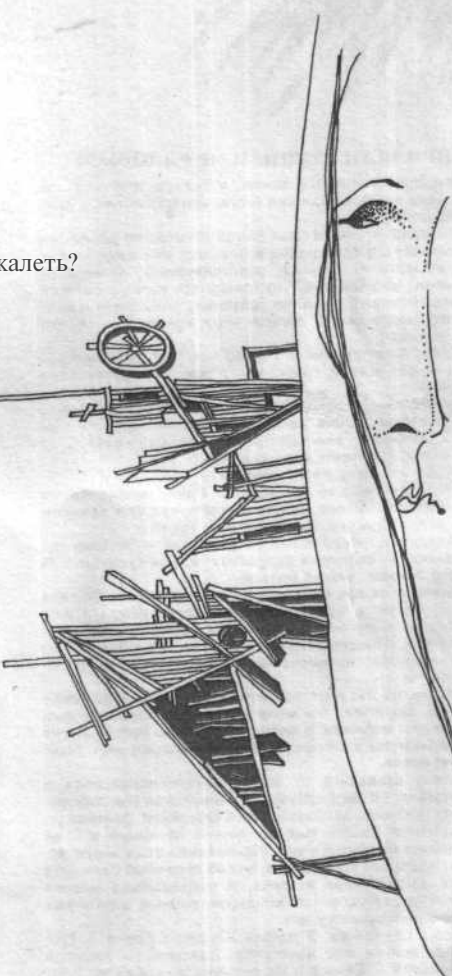
«Мне будет легко улетать.
 Освобождение приходит в слове и в любви,
 минуте-вечности, когда «дубы огнем лижет майя
 языка...»

«А прижмешь языком молоть — молно
 Молно о том, что все в твоих ручьих
 Пусть будет так, как я люблю.
 Альбом «Ветный пост», последний альбом, в срав-
 нении с более ранними записями поражает покдем
 и светом.

В нем наиболее отчетливо и чисто звучит ли-
 рия Саши Башлачева. Лиризм, не имеющий ничего
 общего с ортодоксальной религиозностью, но
 грошья и убеждающая светом истинной духовной
 высоты, знания и сострадания.

«Засучи мне, Господи, Рукава
 Потари мне посок на ветный путь.
 Это выношенное, выстраданное, обретенное.
 «Имя имеет» можно смешать и перециплять беско-
 нечно, постигая в той степени, в какой постигается
 бесконечность»

«Короткую жизнь — семь кругов беспокройного ла-
 да Позы иду, и уходит от вяс на восьмой». «Не
 плуичье, когда семь кругов беспокройного лада...»



«Все завещано. Путь пройден. Тем, у кого он не
 пройден, — динный им путь — страшно думать о
 том, что это значит. Страшно думать о том, что он,
 этот путь, может быть пройден так быстро».

«Неважно поверить в это. Мне тоже засипают
 глаза слезы. Но позволять мне повторить его слова
 «Я бьюсь иду до конца, и не смею кричать им. «Не
 надю...»

«Он хорошо знает цену пройденному пути и своим
 песням».

«Это цена жизни. Все это отдано — нам».

**Марина КУЛАКОВА
 (ГОРЬКИЙ)**